

FREIHEIT  
MARKTWIRTSCHAFT  
DEMOKRATIE

Иннокентий Белов

FÜR FRIEDEN  
UND SOZIALISMUS



— НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ —

**НАЗАД  
В ГДР**

**Иннокентий Белов**

# **Не время умирать. Назад в ГДР**

*<https://litres.ru/74276358>*

*SelfPub; 2026*

## **Аннотация**

Бывший сотрудник КГБ умирает в своей квартире и переносится в прошлое.

Но даже не в свое, в прошлое человека, про которого думал в момент смерти.

Теперь он знает будущее, только должен умереть всего через десять минут от руки своего информатора...

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 4  |
| Глава 2                           | 27 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 41 |

# Иннокентий Белов

## Не время умирать. Назад в ГДР

### Глава 1

СМС от сына я читаю пять долгих минут.

Не потому, что там много букв — букв всего ровно шесть слов и два предлога: «Пап, буду к семи. Взять чего к чаю?»

Просто потому, что мои глаза в последние годы решили — сорок лет напряжённой службы над секретными, особо секретными и прочими документами — достаточный стаж для них тоже.

— Ты вышел на пенсию, и нам пришла пора отдохнуть!

Так бы и сказали, если бы только могли говорить. Поэтому после окончания самой службы сразу перешли на сильно сокращённый график.

Я пока нашариваю на тумбочке одни очки, потом вешаю на них вторые, которые совсем для близи. Дальше отодвигаю телефон на вытянутую руку, словно наступательную гранату, только тогда серые буквы на экране собираются наконец в слова.

Смотрю на часы, сейчас половина пятого, значит, два с по-

ловиной часа имеется в запасе. Успею прибраться, хотя что у меня прибирать? Еще поставить чайник и достать варенье, которое Людмила закатывала ещё позапрошлым летом. Которое теперь я растягиваю, как сухой паёк в полном окружении, по одной банке на полгода, потому что новых банок больше не будет никогда.

Отвечаю ещё дольше, чем читаю, пальцы попадают мимо букв, телефон услужливо исправляет «себя» на «серая». Поэтому стираю и начинаю заново, всё подобное с большим напряжением проделывает человек, который когда-то шифровал донесения быстрее, чем нынешняя молодёжь набирает сообщения.

Смешно, конечно. Только рассказать некому, половина тех, кто поверил бы, лежит на Троекуровском, вторая не дожила и до него.

Набираю простую фразу и добавляю ещё одну:  
«Себя привези. И Мишку, если отпустят».

Отправляю, перечитываю ещё раз — вроде нормально получилось. Сашка отвечает мгновенно, большим пальцем кверху.

«Вот оно поколение, сильно экономящее слова. Мы в его годы совсем другое сэкономили», — ворчу по стариковской привычке.

Мишке восемь, в прошлый приезд он спросил, кем я раньше работал. Я сказал, что инженером по технике безопасности, поэтому в каком-то смысле даже не соврал. Инженерный

диплом, безопасность, техника, всё хорошо сходится. Электромонтёрский разряд у меня и вправду был, ещё юношеский, со школьной практики. Заочный энергетический я закончил уже на службе, между дежурствами и командировками.

Раньше наша контора любила, чтобы легенда умела держать в руках не только авторучку или пистолет.

Сашка при вопросе внука смотрел в окно и улыбался. Он у меня умный, Сашка, за всю жизнь ни разу ничего у меня не спросил. Спросил у Людмилы, наверняка, она умела всё правильно рассказать и объяснить сыну. Так правильно, что мне вопросов не задавали.

Квартира у меня двухкомнатная, тихая, на четвёртом этаже без лифта. Врачи говорят, лестница мне полезна, а я говорю, что врачи не носили по узкой лестнице гроб. Люды не стало год назад, в феврале, с тех пор я живу по распорядку. Потому что распорядок — единственное, что держит человека, когда его больше ничего не держит.

Подъём в шесть, зарядка, какая еще для меня осталась, дальше чай и новости, которые я смотрю без звука. По губам и по лицам всё равно понятно больше, чем по словам, подобному умению меня тоже когда-то хорошо и серьёзно учили. Потом прогулка до магазина, там общение со знакомыми продавщицами, скромный обед, час-другой с книгой, а вечером звонок сына или только одна тишина.

Любимую Людину чашку, синюю, с подклеенной ручкой,

я мою каждое утро вместе со своей. Не потому, что из неё кто-то пил, а потому что есть вещи, которые нельзя переставать делать. Один раз перестанешь, и всё значимое, что за ними стоит, тоже осыплется следом. Награды её лежат в коробке из-под конфет «Ассорти» на антресолях, последний раз я открывал её на похоронах, когда военком спрашивал, что нести на подушечках.

Ровесник-сосед с третьего этажа, Палыч, твёрдо уверен, что я всю жизнь просидел незаметным чиновником в министерстве среднего машиностроения. Поэтому относится ко мне немного свысока, как токарь высшего разряда, да ещё награждённый орденом Трудового Красного Знамени.

«Ремез, ты в своём министерстве станка ни разу не нюхал», — обязательно начинает он всякий спор, даже если мы спорим о погоде всего-навсего.

И пусть говорит. Государство, которому я служил, умело говорить спасибо очень тихо, а я научился так же тихо это спасибо принимать.

Сегодня тишины не будет, сегодня приедет Сашка, привезёт внука. Мишка опять будет крутить в руках мою лупу и спрашивать, почему у деда на полке нет ни одной фотографии в форме.

Потому, Мишань. Потому что форма у деда была такая, что её не фотографируют.

Прохожу на кухню, ставлю чайник, смотрю на календарь и всё внутри, как каждый год в этот день, делает короткий

холодный шаг в сторону.

Четырнадцатое апреля.

Есть у каждого старика своя заноза, оставшаяся из былых времён и напоминающая время от времени про себя. Тупой болью или тягостными воспоминаниями. У кого женщина, на которой почему-то не женился, а теперь жалеет, не переставая, у кого слово, которое не успел сказать отцу, которого больше не увидел.

Моя заноза называется казённо — дело оперативной разработки, Дрезден, апрель семьдесят второго года.

Сам я в том апреле был беззаботным пацаном пятнадцати лет, гонял мяч в подмосковном дворе, поэтому знать не знал ни про какой Дрезден.

С самим делом мы встретились позже, в семьдесят девятом, когда я, свежий лейтенант с немецким языком и большими надеждами, попал в архивное управление.

«Для начала посидишь с бумагами, послужишь Родине своими молодыми глазами!» — услышал сразу, когда прибыл по месту службы.

Мне выдали на подшивку стопку старых, закрытых, безнадёжных дел. Гиблых, как выразился мой первый начальник, просто подошьёшь, правильно пронумеруешь, потом сдашь обратно.

Одно из них я вместо подобного нехитрого набора действий выучил наизусть.

Наш сотрудник, работавший в ГДР под прикрытием —

инженер союзного внешнеторгового объединения при народном предприятии, электрооборудование, командировки, допуски. Сам три года вёл ценного информатора из местных.

Линия у него получилась редкая — тонкая ниточка, протянувшаяся из Саксонии на запад, туда, где делалась большая политика Европы. И вот весной семьдесят второго его ниточка начала громко звенеть от напряжения, потому что в Бонне качался канцлер. Поэтому всё, что касалось Бонна, стоило в тот апрель гораздо-гораздо дороже золота.

Четырнадцатого апреля семьдесят второго года наш сотрудник и его информатор встретились в пивной на рабочей окраине Дрездена. Где информатор должен был передать материал, только вместо этого достал пистолет и выстрелил два раза нашему офицеру в грудь. Выстрелил в упор, прямо через стол. Свидетели, которых потом опрашивала народная полиция и чьи протоколы, переведённые казённой машинисткой, лежали в деле, показали одно и то же.

«Немец отлучился в туалет, вернулся, что-то коротко сказал нашему, выстрелил дважды и вышел через зал спокойно, даже не побежав. Наш умер до приезда полиции».

Осмотр места происшествия зафиксировал, лист сорок, я помню его наизусть — «в дворовом туалете, под фаянсовой крышкой бачка, нашли обрывки чёрной изолянты и стертый прямоугольник в пыли, след спрятанного там свёртка».

Оружие ждало будущего убийцу там заранее. Ствол редко приносят на подобную встречу, потому что всегда может

случиться проверка. Ствол кладут загодя, подобному учат в одних и тех же школах по обе стороны любой границы. Материал для передачи тоже исчез, если он вообще был у информатора, про него в протоколах ничего нет.

Только через двое суток, шестнадцатого апреля, в одну ночь посыпалась вся линия на Западе, начались аресты, провалы, две семьи не успели вывести.

Дело закрыли в семьдесят четвёртом с формулировкой, от которой у меня и сейчас, через пятьдесят лет, сводит судорогой оставшиеся зубы: «в связи с невозможностью установления».

Пивная называлась «Цур Линде» и стояла в Пишене, прямо у трамвайного депо. К делу была подшита схема зала, вычерченная старательным полицейским рейсфедером. В ней есть шесть столов, стойка, кухня, туалет во дворе через тамбур, еще серый крестик в углу, у стены. Я столько раз смотрел на этот крестик, что могу теперь нарисовать схему с закрытыми глазами.

К служебному делу было подшито личное убитого сотрудника, тонкое, обычное командировочное. С фотографии три на четыре на меня смотрел парень лет тридцати: тёмные волосы, спокойные светлые глаза, твёрдый рот.

Старший лейтенант, в переписке «Инженер», без лишних затей, но хорошо толковый, судя по отчётам. Все же за три года собрал линию, до которой у Центра десять лет никак не доходили руки.

Его лицо я запомнил лучше, чем лица собственных однокурсников, так бывает иногда с лицами людей, которым ты задолжал. А я считал, что наша контора ему задолжала. Как минимум — правильный ответ на многие вопросы.

Я тогда, в семьдесят девятом, написал по данному, здорово заинтересовавшему меня делу, справку на четырёх листах, которой у меня никто, конечно, вообще не просил.

В справке было три вопроса.

— Почему опытный сотрудник остался за столом, когда источник вышел и вернулся с рукой в кармане?

— Почему информатор, работавший чисто три года, пошёл на убийство, которое безнадежно хоронило его самого?

Самый главный — откуда информатор знал, что стрелять можно без опаски, что прикрытия у встречи в тот день не будет. Судя по всему, как он открыто стрелял и спокойно вышел, даже не оставив на месте пистолет, подобное знание у него точно имелось.

Справку у меня забрал непосредственный начальник, прочитал при мне, снял очки и сказал фразу, которую я запомнил на всю дальнейшую службу:

— Вопросы у тебя правильные, лейтенант. Поэтому подшей их вот сюда подальше, в самый низ, и никогда никому больше не задавай. Потому что здесь собраны опасные вопросы, на которые никто из начальства не захочет ответить. Но тогда отвечать за чужие просчеты и излишнее к ним любопытство придется именно тебе.

Я долго спорил с ним, но потом все же подшил и вопросов больше не задавал. Сорок семь лет не задавал вслух.

Данная справка, к слову, обошлась мне довольно недорого, всего лишь в свою служебную биографию. Через пару лет моё представление на учёбу уехало в стол, а в академию поехал другой, звонче щёлкавший каблуками. Потом была ещё одна история, в восемьдесят третьем, когда я наотрез отказался визировать бумагу высокому начальнику. Которую нельзя было визировать, если ты собираешься по вечерам спокойно смотреть в глаза собственной жене. Начальники часто менялись, формулировка в аттестациях не менялась: «грамотен, исполнитель, инициативу проявляет избыточно».

Про то, что я упертый правдолюб и не иду на скользкие компромиссы, нигде и никогда не писалось, только передавалось негласно. От одного начальника к другому, на меня махнули рукой, в подобные темы уже больше никогда не привлекали.

Поэтому майора я получил только в тридцать четыре года и в майорах ушёл.

Люда говорила, зато ты спишь по ночам. Я и правда спал. Не все из тех, кто обгонял меня на поворотах службы и карьеры, могли сказать про себя то же самое.

Начальника того давно уже нет, и дела тоже, я проверял в девяностые, когда всё продавалось и всё открывалось. Уничтожено по акту, три подписи, все три были мне знакомы.

Теперь остался только я, ходячий носитель гиблого дела, почти семьдесят лет, зрение минус тринадцать, давление сто шестьдесят.

Архив на двух ногах.

Ритуал на четырнадцатое апреля у меня очень простой, чисто стариковский. Когда уже не можешь ничего изменить, но должен хоть что-то сделать. Не для него, уже только для себя самого.

В этот день я достаю с полки немецкий словарь — тот самый, с которым готовился к первой командировке. Сначала открываю его наугад, читаю колонку слов, как поминальный список, потом убираю обратно. Люда за сорок лет так и не спросила, что это за день такой. Она умела не спрашивать лучше, чем я умел молчать, на этом, наверно, мы и держались вместе — и в конторе, и в жизни.

А про себя я задаю те три вопроса каждое четырнадцатое апреля.

Чайник вскипел и громко щёлкает. Насыпаю побольше заварки, добавляю до самого верху кипятку, оставляю настояться на столе. Беру и несую чашку Люды в комнату, как на середине коридора понимаю, что до комнаты её не донесу.

Такое ощущение приходит, как приходило уже дважды, только теперь без предупреждения и всерьёз. Даже не боль, а тяжелый вес, точно кто-то очень спокойный и очень сильный кладёт ладонь мне на грудь изнутри. После чего мягко, без всякой злобы, начинает прижимать меня к полу.

Чашка первой уходит из пальцев, я еще слышу, как она разбивается, но уже далеко-далеко, в соседней жизни. Стена подставляет свое надежное плечо, я сползаю по ней, как учили сползать по стенам в совсем других обстоятельствах, мягко и без грохота. Потом сажусь на пол в коридоре собственной квартиры, напротив вешалки, на которой до сих пор висит Людин плащ.

«Телефон остался на кухне», — я отмечаю тем спокойным служебным голосом, который включается у нашего брата, когда паниковать уже поздно и вообще незачем.

До кухни всего четыре метра, что по нынешним меркам равняется примерно расстоянию до Дрездена.

«Сашка придет к семи, позвонит в дверь, а потом откроет ее своими ключами».

Странно, о чём думает человек, когда сильная спокойная ладонь окончательно дожимает его к полу. Я не думаю ни о службе, ни о наградах в коробке из-под конфет, которые обязательно понесут за моим гробом, ни даже о Люде.

Потому что Люда не мысль, Люда — свет в коридоре, она сейчас просто стоит рядом, как стояла сорок лет.

Я думаю о том, шёл ли в Дрездене дождь четырнадцатого апреля семьдесят второго года.

В протоколах погоды не было. В протоколах никогда не бывает погоды.

Свет в коридоре становится белым, потом узким, потом сворачивается в точку.

Точка мигает.

\*\*\*

Первым возвращается звук — и звук этот неправильный.

Я слышу гул голосов, много голосов, низких и мужских, вперемешку со звоном толстого стекла и лязгом посуды где-то за стеной. Еще слышу радио, из которого тянется бодрая глупая песенка с аккордеоном, но почему-то на немецком языке, сквозь неё слышен далёкий, знакомый перезвон трамвая. Вокруг пахнет разливным пивом, табаком, не каким-то сигаретным дымком из-под форточки, а плотным, слоями стоящим табачищем. Еще жареным луком, горчицей и мокрой шерстью, говорят все вокруг по-немецки, саксонским окраинным выговором, в котором половину слов глотают, а вторую медленно перекатывают во рту.

Я понимаю их сквозь гул автоматически, как понимал немецкую речь всю свою взрослую жизнь. И подобное знание самое первое, за что цепляется сознание — я понимаю немецкую речь даже на саксонском диалекте.

«Значит, я всё ещё я».

Во рту стоит вкус пива и крепкого табака, только я не курил тридцать лет и не пил, кажется, лет десять. Но это тело, судя по всему, за последние полчаса вволю успело попробовать и то, и другое.

Вторым возвращается тело, вот оно уже явно не моё.

Я сейчас сижу, под ладонями лежит липкая деревянная столешница, а сами ладони, я смотрю на них, наверное, всего

полсекунды, точно не мои Но эти полсекунды растягивается, как растягивается кадр перед аварией, они молодые, крупные, сильные, с чистыми ногтями и чужим шрамом через костяшку, еще в правой дымится сигарета.

Сердце, к которому я прислушиваюсь первым делом, потому что последним моим воспоминанием о сердце была та спокойная ладонь, бьёт глубоко, мощно и молодо, как неутомимый насос, которому работать ещё лет пятьдесят.

И еще я отлично вижу, вот что оглушает меня едва ли не сильнее всего остального. Вижу четко, до рези, во всю глубину прокуренного зала трещину на дальней кафельной плитке, стрелки ходиков за стойкой, готический шрифт на эмалированной табличке у двери.

Час назад я пять минут разбирал семь слов на экране телефона, а теперь могу прочитать газету через весь зал.

«Если все подобное со мной случилось час назад, а не несколько дней или месяцев?» — надо бы задаться данным вопросом, но пока явно не до него.

Взгляд сам, без команды, делает то, что делал сорок лет, аккуратно снимает помещение — зал на шесть столов, входная дверь слева, с колокольчиком сверху. За стойкой проход на кухню, тамбур в дальнем углу ведет на двор, к туалету. Двадцать семь посетителей, все по виду со смены, руки рабочие, никому ни до кого нет дела, все жадно пьют пиво и закусывают. Еще считаю расстояния, углы, что можно опрокинуть и чем можно бить. Старая привычка обживает молодые

глаза мгновенно, как возвращаются в свою родную квартиру.

Но потом взгляд доходит до угла, в котором я сижу, до стола у стены, теперь я узнаю это место раньше, чем успеваю испугаться.

Шесть столов. Стойка. Тамбур во двор. Стол в углу, тот самый, на который старательный полицейский рейсфедер поставил в семьдесят втором году маленький аккуратный серый крестик.

Я сейчас сижу на крестике.

На столе передо мной стоит высокая кружка с толстым дном, наполовину пустая, пена на стенках оседает кольцами, по которым можно счесть глотки. Пиво тёмно-золотое, горьковатое даже на запах — тот самый радебергер. Его сухую горечь я помню по давним командировкам, хотя настолько свежим его, пожалуй, не пил никогда.

Радеберг тут всего в полчаса езды, но географическая близость мало что значит при социализме и плановой экономике. Лучший пильзнер ГДР почти весь целиком уходит на экспорт на Запад, поэтому в обычной рабочей пивной его чаще спрашивают, чем получают.

«Значит, Мюллер умеет доставать именно радебергер», — мелькает мысль.

Ещё одна мелочь, которой не было в протоколе. Рядом лежит картонная подставка, на её поле карандашом прочерчены две короткие чёрточки, так кельнер отмечает уже выпитое. Два пива.

«Соболев успел выпить два пива, нет, только полтора, выкурить полпачки и прожить последние полчаса своей жизни, пока я умирал в московском коридоре. Вообще, как-то многовато пива для служебной встречи с информатором, — замечаю я себе. — Похоже, он точно не ждал никаких проблем, просто радовался жизни, отлично получающейся работе и вечеру пятницы».

Рядом с кружкой ждёт тарелка, на ней лежит боквурст, толстая глянцева сосиска, ещё дышащая паром, ломоть серого хлеба и жёлтая лужица горчицы с деревянной ложечки из общего горшочка. Горчица пахнет остро, с хреновым духом, самая настоящая баутценская, другой тут просто не держат.

И только теперь, поверх пива, горчицы и табака, до меня доходит главное, когда я поднимаю взгляд чуть выше тарелки. На соседнем стуле лежит свёрнутая газета, оставленная кем-то из прежних гостей, уголок первой полосы смотрит прямо на меня: *Sächsische Zeitung*, и знакомая дата — 14. April 1972.

Четырнадцатое апреля! Именно семьдесят второго года! Моя душа попала туда, о чем я думал на пороге смерти! Тут же мой взгляд мечется дальше, собирая подробности. Ходики за стойкой показывают без двадцати шесть. Протокол места осмотра, лист девять, я помню его дословно, четко фиксировал — выстрелы произведены около семнадцати часов пятидесяти минут.

Десять минут.

«У меня есть десять минут. До начала стрельбы. До встречи с Биндером еще меньше», — понимаю я.

Мне становится холодно, не страшно ещё, страх подходит позже, со второй волной, а именно холодно. Как холодеет солдат, поднятый по тревоге из глубокого сна, ведь его тело уже бежит, а душа еще только догоняет услышанные команды.

«Я сижу в пивной Цур Линде, в Пишене, за столом с крестиком, в теле старшего лейтенанта, которого через десять минут должны застрелить. И единственное, чего у меня имеется в избытке — это знание будущего», — я знаю данную сцену наизусть.

Я знаю её уже сорок семь лет.

Знаю, что информатор уже идёт сюда. Знаю, что он закажет корн и пиво, немного посидит, немного поговорит, отлучится в туалет во двор через тамбур. Потом вернётся с левой рукой в кармане...

Знаю то, чего не знал в свою последнюю минуту Андрей Соболев. Что в бачке дворового туалета, под фаянсовой крышкой, полицейские осматривают найдут потом обрывки чёрной изоляции и смазанный по краям прямоугольник в пыли — след от свёртка, который там его терпеливо ждал.

Можно встать и выйти. Прямо сейчас встать, бросить на стол три марки, два поллитра пива по восемьдесят пфенни-

гов, боквюрст за марку двадцать, пивная здесь недорогая, толкнуть дверь с колокольчиком на выход.

И живи тогда, старший лейтенант, но живи только до следующей засады.

Я просчитываю подобный вариант за две секунды и отбрасываю, ведь уйти сейчас означает полностью ослепнуть. Я не знаю ни своей легенды, ни одного из своих связных, ни того, где в нашей цепочке сидит дыра. Зато напротив меня через десять минут сядет единственная ниточка, которая ведёт ко всем ответам сразу.

В прошлый раз эта ниточка убила нашего человека и ушла. Отпустить её второй раз я не имею права.

Ни как советский офицер. Ни просто, как старик, который сорок семь лет ждал данного разговора.

Поэтому беру вилку и придвигаю тарелку, накладываю на кусок сосиски горчицу. Не из какого-то особенного хладнокровия, просто из обычного расчёта. Человек, который ест, не выглядит человеком, который ждёт убийцу, а мне предстоит не выглядеть им ещё десять минут.

«Уже восемь!» — поправляю себя, мельком взглянув на часы.

Но первый же кусок ломает весь расчёт к чертям. Шкурка боквюрста щёлкает под зубами, брызгая горячим, мясным с дымком вкусом, мое молодое нёбо взрывается так, что я на секунду закрываю глаза. Потом солирует уже горчица, очень злая, баутценская с хреном, она ударяет в переносицу до слёз

и тут же отпускает, оставляя чистый жар. Дальше глоток радебергера — плотная холодная горечь, смывающая жар, как волна смывает след на песке.

Я семьдесят лет прожил на этом свете, последние двадцать из них ел таблетки с кашей, пресное с несолёным, поэтому успел забыть, что вкусная еда — это вообще-то настоящее счастье. Молодое тело радуется жизни, которой ему остаётся восемь минут, а я сейчас ем последний ужин Соболева за него самого.

Это одновременно прекрасно и все-таки как-то немного непристойно.

Толстый кельнер подходит сам, я узнаю его раньше, чем он открывает рот. Мюллер, свидетель Мюллер, листы двенадцать — четырнадцать, живьём, в фартуке, с полотенцем через плечо.

— Ещё пива, герр инженер? — спрашивает он так, как спрашивают знакомого завсегдатая.

Значит, «инженера» тут хорошо знают. Значит, встречи проводятся здесь не в первый раз, такое тоже было в деле, и в подобном тоже оказался определенный вопрос. Потому что конспиративные встречи обычно не назначают там, где тебя зовут по прозвищу.

— Воды, — говорю я, чужой голос, ниже моего и ровнее, звучит буднично. — И счёт держи открытым, Мюллер. Сегодня, чувствую, серьезно засидимся.

Он весело хохочет и уходит, а я остаюсь сидеть с вилкой

в руке, слушая, как за стеной кухни шипит лук, как радио сменяет песенку на сводку. Теперь диктор бодро читает про встречные планы и про подготовку к весеннему севу в округе Дрезден.

И, как еще во мне, поверх пива и горчицы, медленно поднимается злость. Хорошая, рабочая, семидесятилетней выдержки. На тех, кто назначил встречу в засвеченном месте. На того, кто узнал про пустое окно в прикрытии. На человека, который сейчас войдёт в эту дверь.

Колокольчик звякает без шестнадцати шесть.

Я не поднимаю головы, я же ни о чем не беспокоюсь. Пока смотрю в тарелку и вижу его в никелированном боку салфетницы — худое лицо, залысины со лба, светлые глаза чуть навывкате, крупная родинка над левой бровью.

Фотография три на четыре, наклеенная казённым клеем на пожелтевший лист, входит в пивную «Цур Линде» вполне себе живая, в серой куртке с мокрыми плечами, снимает шляпу и сразу идёт к моему столу.

«На улице идет дождь. Все-таки дождь, мелкий и противный. Вот то, чего не было в протоколе», — с легким огорчением понимаю я.

В деле он проходил под псевдонимом «Ткач» — Клаус Биндер, тридцать один год, ровесник Соболева, технолог народного предприятия, информатор нашего офицера. Работавший чисто три года, выдававший аккуратные отчёты, имевший скромные запросы, не совершивший одной осеч-

ки, просто идеальный источник.

«Только идеальных вообще не бывает», — такое я тоже знаю из будущего.

— Андрей, — говорит он, не здороваясь, садясь напротив, спиной к залу. — Извини, трамвай долго стоял. На мосту опять затор.

— Дождь, — говорю я. — В дождь всегда затор.

Он кивает, стягивает перчатки, пока я внимательно смотрю, как он это делает. Снимает слишком аккуратно, палец за пальцем по очереди, как человек, который занимает руки, чтобы они его не выдали. Мюллеру он машет привычно, просит корн и пиво. Пока тот наливает и несёт, говорит про литьё, про мастера, который путает план с божьей волей, про новую линию, на которой опять непонятно плывут допуски.

Я слушаю, киваю в нужных местах и считаю. Высокий пульс у него написан на шее — явно частит. Корн он выпивает одним движением, не поморщившись, тут же запивает пивом до половины кружки. Так пьют не для вкуса, только для того, чтобы занять руки. Взгляд его дважды обходит зал, оценивая окружение, посетителей, потом разглядывает дверь, стойку, тамбур.

«Готовится стрелять, бросает последние взгляды по сторонам», — теперь очень хорошо понятно мне.

Но оба раза быстро возвращается ко мне с одним и тем же выражением, которое я потом сотни раз видел у людей, принимающих какое-то серьезное решение, то есть постепенно

пустеющим.

Из него, как вода из ванны, уходит всё лишнее — вежливость, легенда, три года нашего знакомства. Сейчас на дне остаётся только то темное дело, которое он пришёл обязательно сделать.

— Материал принёс? — спрашиваю я, потому что Андрей Соболев обязан такое спросить.

Биндер загадочно смотрит на меня долгим взглядом, потом улыбается уголком рта.

— После, — говорит он. — Сначала выпью пиво. Имею я право выпить пива со старым другом?

«Имеешь», — думаю я.

У тебя вообще сегодня много прав, Клаус. Право на корн, право на пиво, право на два выстрела в упор, ведь всё уже оплачено. И я даже уверен, в каких именно марках пришла оплата, в западных, конечно.

«Но основная часть денег должна его ждать в ФРГ, куда Биндера, наверняка, пообещали обязательно вывезти. Поэтому Клаус уши и развесил, хотя ему сейчас и так деваться некуда», — спокойно и доброжелательно разглядываю я меняющееся на глазах выражение лица информатора.

Весной семьдесят второго года, когда в Бонне качается канцлер, поэтому любая ниточка, тянувшаяся из Саксонии к боннской арифметике, стоит дороже золота, в такие вёсны не стреляют по мелочи.

По мелочи сначала всегда вербуют. Стреляют уже потом,

когда надо просто ослепить разведку вероятного противника.

— Пей, — говорю я. — Куда нам вообще торопиться, Клаус? Старый дружище!

Подпускаю ему небольшую шпильку против шерсти, вдруг как-то подействует на него упоминание про дружбу, немного приостановит его торопливые шаги до моей смерти.

Но нет, никакие слова уже не смогут поменять его решение.

Он допивает пиво одним глотком, ставит кружку, промокает губы тыльной стороной ладони и поднимается — легко, буднично, одёргивая пиджак.

— Отойду, — говорит он. — Пиво, сам понимаешь.

«Все же полностью допил кружку, ничего не оставил, — подобного тоже не было в протоколе. — Какой же ты аккуратный и педантичный человек, Клаус. Настоящий немец».

И вот он идёт через зал к тамбуру, во двор, где в холодном фаянсовом бачке, примотанный чёрной изолентой, его ждёт маленький тёмный пистолет.

Соболев в тот вечер остался сидеть за столом. Ждал, как ждут друга, просто вышедшего на минуту. Я сорок семь лет читал, чем его терпеливое ожидание закончилось.

Ждать его возвращения означает ждать пулю. Вот так сидя, лицом к тамбуру, с кружкой в руке, очень просто ее получить. Здесь за столом, разделяющим нас, от нее никуда не денешься, как не делся тогда Соболев. А вот там, в будке,

в ближайшие полминуты у Клауса Биндера обе руки будут заняты изолентой. Поэтому ствол пока останется холодным и невзведённым, голова тоже будет занята молитвой, чтобы никто случайно не вошёл в туалет.

«Другого окна мне никто сегодня не предложит», — решаю я.

Кладу на стол приготовленные монеты, поднимаюсь спокойно, как поднимаются по нужде, и иду следом.

## Глава 2

Темный двор пивной встречает меня той же мелкой моросью, лёгким запахом помоев и пивной кислятины. Из за-ла сквозь неплотно закрытую дверь тянет человеческим тёп-лом — пивом, табаком, чужим гомоном. Подобный гомон сейчас мой лучший союзник, пока там звенят кружками и азартно спорят про футбол, здесь можно спокойно работать. Хотя времени лишнего все же нет, пиво часто зовет посети-телей пивной пройтись по такому же пути.

Дощатая будка стоит у дальней стены двора, к ней ведёт тропка из вдавленного в грязь жёлтого когда-то кирпича. В тонкой щели между досками подрагивает слабенький свет. Ведь здорово продуманный старина Клаус, идя на встречу к старому другу Андрею, весьма предусмотрительно взял с собой спички.

«Не ожидал даже, ведь достать пистолет можно в полной темноте. Но со спичками все же попроще будет», — резю-мирую я на ходу.

Подхожу без звука по кирпичу, сквозь узкую щель вижу то, что до этого видел только в изложении машинописного перевода. Человек стоит на коленях перед открытым фаян-совым бачком, как перед алтарём, обеими руками отдирает от него чёрный свёрток. Изолента поддаётся с сухим трес-ком, спичка в зубах дрожит и гаснет, сейчас весь он — спина,

локти, затылок, как одна сплошная молитва, чтобы успеть выполнить задание.

«Которое нацелено на Соболева, значит, приказано кем-то Клаусу, теперь двойному агенту. Мне необходимо узнать первым делом, кем именно приказано? Значит, Биндер мне нужен живым и на свободе, пусть уже не очень здоровым, — подвожу я нужные условия для дальнейшего взаимодействия. — Задерживать и сдавать его здешним товарищам пока точно нельзя!»

Биндер выплевывает погасшую спичку в бачок, тут же зажигает вторую, теперь светит ей. Беру дверь на себя в тот самый момент, когда свёрток все-таки отрывается и оказывается в руках инженера. Задвижка, конечно, не выдерживает моего напора, тонко звякнув, отлетает в мокрую темноту, а я вваливаюсь в уборную.

Мы втроем, я, он и пистолет, не поместились бы в этой будке даже по частям. Такое положение мне на руку, ведь в тесноте не стреляют, как раньше, совсем безопасно с большого расстояния, в тесноте только ожесточенно возятся. Падаю на него сверху, старательно ловя обеими руками его правую кисть со свёртком. Он, после секунды потрясенного молчания, глухо взывает, ударяется плечом о фаянс, спичка наконец-то гаснет. Потом в крошечной вонючей темноте мы молча начинаем ломать друг друга очень зло, по-настоящему, как ломают не в кино. Приходится драться коротко, тесно, без всякого замаха. Он бьёт затылком, локтем, коленом,

все вслепую бьет и мажет, но со звериной энергией отчаяния. Я плотно гашу удары, наваливаюсь на него, давлую весом и нужным углом, длится всё такое, наверно, секунд восемь. Только идут они, как все восемь полноценных раундов.

Я еще не вжился в новое тело, вообще не знаю его способностей, почти все делаю наугад. Теперь вот вижу, что Клаус ни в чем не уступает мне в тесноте нужника.

Он легче и гибче, зато я тяжелее и старше на одну прожитую жизнь. Изолента летит клочьями, свёрток становится стволом, ствол неуклонно идёт вверх, прямо к моему лицу. И вот теперь уже в упор, сдавленно и почти с мольбой, совсем не так высокомерно, как сохранено в протоколе, он сипит те самые два слова:

— Entschuldige, Andrej...

— Nicht heute, — шиплю я ему в ответ в лицо.

Точно не сегодня.

И сильно бью локтем в бровь, пытаюсь немного оглушить Клауса.

Выстрел рвёт тесноту, как граната, потом второй. Доска над моим плечом брызгает щепой, левое плечо обжигает горячим. Но попало вскользь, только по мясу, работать можно, отмечает служебный голос сквозь звон в ушах. И на этом самом звоне я доворачиваю его кисть до опасного хруста. Пистолет падает мне в ладонь, тёплый от его рук.

А Клаус мотает головой назад, потом врезает мне затылком в скулу, ловко выворачивается из-под меня угрём, ока-

завшись уже ближе к двери. Теперь его тут, на месте преступления, больше ничего не держит, если нет оружия, если не выполнено задание. Остается спасать свою теперь ничемную, нужную только мне жизнь. Биндер сразу вылетает из будки во двор, с разбегу и с сильным грохотом снося железный мусорный бак.

Выскакиваю следом, потому что его нельзя сейчас никак потерять.

Он уже перемахивает через низкий штакетник в соседний двор отчаянным прыжком человека, которому страх выдал вторую молодость. Сразу иду за ним через штакетник, через двор с бельевыми верёвками, где мокрые простыни хлещут меня по лицу чужой стиркой, мимо взорвавшейся лаем собаки, через штабель ящиков у сарая. Где-то над нами уже стучит рама, звонкий старушечий голос обещает двору полицию и родителей, причем обоим хулиганам сразу.

Он отчаянно несется на максималках, поэтому Биндера заносит на поворотах, когда он почти пробуксовывает ботинками на промокшей земле. Я бегу экономно, режу углы, уклоняюсь от веревок и белья, от валящихся ящиков, неуклонно догоняю исчезающую время от времени в темноте фигуру. Он мог бы затаиться, попытаться ударить меня чем-то, чтобы стряхнуть погоню, но страх и горящие нервы не позволяют ему даже оглянуться.

«Тем более ствол уже у меня!»

На выходе из последнего двора я его почти достаю в силь-

но рискованном прыжке, пальцы захватывают мокрую ткань куртки, уверенно рвут к себе. Но он тут же крутится, выдёргивает руки из рукавов и выскальзывает, как выскальзывают из чужой жизни, оставляя куртку у меня в кулаке. Я же неуклюже растягиваюсь на мокрой земле после слишком большого усилия, не рассчитав свою скорость в чужом теле и его отчаянный маневр до смерти перепуганного беглеца. Еще ударяюсь о твердые камни начавшейся мостовой прямо раненым плечом, на несколько секунд почти теряю сознание от боли.

В моем размытом взгляде Клаус одним прыжком исчезает из вида, заскакивая за ближайший трамвай. Дальше идет депо, рельсы, мокрые спины спящих трамваев, работающий фонарь через три на четвёртый. Его смутная тень вдалеке ныряет под состав, теперь уже всё, он серьезно оторвался от меня.

«Ищи ветра между вагонами, теперь уже товарищ Соболев», — прихожу я в себя.

Поднимаюсь с мокрых, грязных камней, приваливаюсь к холодному железному трамвайному боку, слушаю собственное сердце и далёкий, поднимающийся за домами крик. Это уже сейчас двор «Цур Линде» неудержимо просыпается после стрельбы.

«В семьдесят лет я умер бы на втором дворе подобной погони. В тридцать один всего лишь упускаю его, неудавшегося пока убийцу. Зато у меня остаётся его куртка», — признаю

я свою текущую неудачу.

Отхожу в тень между вагонами и обыскиваю её на ощупь, быстро, по швам, как учили когда-то давно.

Мелочь и несколько банкнот. Мятая пачка «Каро» без фильтра, крепких сигарет, каких курит половина народной республики. Ключи на кольце, явно домашние, теперь уже бесполезные и ему, и мне.

«Домой он точно больше не вернется!»

Зато во внутреннем кармане меня ждет неожиданная находка — вокзальная книжечка-расписание. Как раз из тех, что продают в киосках за пятьдесят пфеннигов, сильно замусоленная, зато с загнутым уголком.

Что-то толкает меня в душу в предвкушении неожиданной удачи.

Я поскорее подскакиваю к фонарю, светящему ярче других, чтобы что-то найти в ней, какой-то путь или подсказку к будущему курсу беглеца. Если у него в данный момент при себе оказалась книжка с расписанием поездов, значит, его точно нигде не ждет машина для эвакуации. Значит, из города он должен выбираться сам по себе, очень экономя ресурсы заказчика и не светя его лишний раз.

«Да, машину могут остановить для проверки, она может сломаться или просто попасть в аварию. Явно не такой надежный вариант, как железная дорога!» — понимаю я.

На загнутой странице, поперёк колонки поездов, торопливым карандашом выведено: «N-St. 21.30».

Только теперь я слышу собственное дыхание — ровное, без хрипа, без навязчивого стука сердца в груди. Садят ко-  
стяшки руки, ноет ушибленное колено, и на этом всё, моло-  
дое тело Соболева легко списывает ночную драку в мелкие  
расходы. Ноет раненое плечо, как и должно, тоже не смер-  
тельно. Семидесятилетний я после подобного испытания от-  
лёживался бы неделю или две, если не целый месяц.

К чужой здоровой молодости и сильному телу привыка-  
ешь постыдно быстро — гораздо быстрее, чем к чужому име-  
ни.

Стою с вокзальной книжечкой в руках между трамваями  
весь промокший и грязный, зато чувствую себя сейчас че-  
ловеком, которому вдруг вернули выигрышный билет, уже  
выброшенный было в урну. Потому что моя старая самоуве-  
ренная голова уже успела назначить ему определенный вок-  
зал для эвакуации Биндера из города — Хауптбанхоф.

Здесь самый главный, по вечной привычке мерить все до-  
роги главными. Чтобы добраться до него, нужно миновать  
Эльбу, но слишком близкий и удобный путь из Пишена на  
самом деле.

Только вокзалов в этом городе больше одного.

«N-St.» — это именно Нойштадт, который находится на  
моей стороне реки. До него всего несколько трамвайных  
остановок, но зато можно без проблем дойти пешком.

«Очень удобное место для исчезновения именно из Пи-  
шена, — признаю я. — Разумная мера, чтобы меньше све-

титься и лишнего не ездить по большому городу. Данный маршрут ему придумал заказчик моего убийства, самому Биндеру собственную эвакуацию никто просто не доверил бы».

«Правда, Клаус без куртки и зонта при нем не было, явно промокнет весь за время ожидания поезда. Впрочем, может спокойно забиться под какую-то присмотренную уже давно крышу, чтобы дожидаться трамвая в сторону Нойштадта. Или даже отсидеться в кнайпе. Времени у него с большим запасом осталось, почти три с половиной часа. Или все же побойтись оказаться в освещенном месте, в том же трамвае, раз я все-таки остался жив. Ведь теперь его может искать та же народная полиция, если я сразу же дал им показания на неудавшегося убийцу? — размышляю я. — По большому счету Соболев не стал бы исчезать из пивной после стрельбы, ведь он еще не знает всего, что знаю я сейчас. Что Биндер только первое звено в серии постоянных провалов нашей агентуры и здесь, и на Западе?»

Да, тот печальный момент, что жертва выжила и сама лично знает неудавшегося стрелка, заставит Биндера прятаться еще старательнее и дольше теперь.

«Ему и на вокзале довольно опасно показываться сейчас, только выхода другого все равно уже нет. Так быстро путь эвакуации точно не изменить!» — хорошо понимаю я возникшие из-за того, что Соболев все же выжил, проблемы у самого «Ткача».

«Если маршрут эвакуации уже согласован с заказчиком, резко менять его вообще не положено. Без подобной договоренности ни одна разведка мира не отправит ликвидатора на работу. Он слишком много знает теперь, чтобы просто бросить его на произвол судьбы в руки местных контрразведчиков. Обычно путь эвакуации негласно контролируют обученные подобным вещам люди. Один ли он отправится куда-то прятаться или с сопровождением, его будут ждать именно в 21.30 на вокзале Нойштадта», — быстро рассуждаю я.

Если, конечно, здесь написан вокзал отправления, а не станция назначения. Если время относится именно к сегодняшнему вечеру, а не запасной вариант на вторник. Если писал он про себя, а не для кого-то ещё.

Есть еще и третий вокзал в Дрездене, но сейчас он работает в основном, как грузовая станция — Дрезден-Фридрихштадт. Хотя пассажирская платформа там все же есть, не стоит про нее забывать. Но в трофейной книжечке расписаний указано время и вокзал, лучшей подсказки мне теперь никак не получить.

Все подобное, конечно, пока просто мои гипотезы. Всё, что у меня теперь есть, называется именно данным казённым словом. Но наш стрелок тоже не профессионал-ликвидатор, не матерый, отлично обученный зубр западной разведки. Все же обычный инженер, прошедший легкое обучение у западников где-то прямо здесь, который от страха может забыть или перепутать время и место отправления. Поэтому запи-

сывает инструкцию самому себе карандашом в расписание, подобное очень похоже на правду. И еще очень похоже на самого педантичного Клауса, вот прямо деталь из его прошлой теперь жизни.

«Его хозяева очень ругались бы, узнав про подобную отметку в железнодорожном расписании поездов», — усмехаюсь я про себя.

Именно из прошлой жизни, в его настоящей сейчас все очень смутно, нельзя ничему и никому верить. Сейчас ему придется постоянно шарахаться от любой тени. Еще верить совсем незнакомым теперь людям, которые должны обеспечить эвакуацию.

Слишком щедрым подаркам меня учили не верить, за сорок лет я дважды видел подобные находки, оба раза их клали нарочно. Только приманку-обманку всегда готовят тому, кого ждут на известном месте.

«Меня в этом городе сегодняшним вечером не ждал вообще никто — даже я сам. Так что обманка исключается точно», — уверен сейчас я.

Куртку топлю в мусорном баке тремя дворами дальше. Пистолет разряжаю на ходу, не вынимая рук из карманов. Магазин уходит в ливневый сток у восточных ворот депо, сам ствол скидываю ещё через квартал, в глубокий дренажный колодец под чугунной решёткой. Оба места отмечаю по приметным вывескам, потому что носить отнятое оружие мне нельзя ни часа.

Ствол, найденный возле пивной — просто история о том, как стреляли в какого-то советского инженера. Только этот же ствол, найденный в кармане самого советского инженера — история про совсем другого инженера, а её мне писать еще слишком рано.

«Внешний вид у меня сейчас явно привлечет всеобщее внимание, нужно смыть грязь с лица, рук и одежды, — напоминаю я себе. — Впрочем, грязь на одежде прикроет плащ, который остался в пивной. Остается позаботиться о лице и руках».

К «Цур Линде» возвращаюсь с улицы, через пять минут и через два квартала, потому что в пивной остались мой плащ, моя шляпа и мой портфель. Зато в портфеле, судя по весу и по инженерной жизни Соболева, лежит то, без чего мне просто не получится здесь существовать, все очень теперь нужные бумаги.

У дверей пивной уже толпятся посетители, здешние работяги, кто-то прибежал на выстрелы из соседних домов. В проходе сам Мюллер в фартуке размахивает полотенцем, как флагом капитуляции. Меня видят, толпа сразу ахает и раздается передо мной.

— Господин! — Мюллер вцепляется мне в рукав обеими руками, полотенце падает на пол. — Вы живы! Этот сумасшедший — он стрелял в вас? Мы слышали выстрелы! Два выстрела! Хайке видела, как вы за ним побежали... Матерь божья, у вас кровь! Полиция уже едет, я сам звонил два раза!

Вы должны остаться, вы свидетель, вы...

— Должен, — легко соглашаюсь я, снимая с крючка у нашего стола плащ и шляпу, поднимая с пола портфель.

Зал смотрит на меня тридцатью парами глаз, для всех этих глаз я раненый, за которым гнался убийца. Именно такое они и расскажут полиции. И я убегал от него, хотя Мюллер только что назвал меня смельчаком, бросившимся в погоню.

У прохода на кухню, прижав к груди полотенце, стоит де-вушка, светлые косы, огромные от испуга глаза.

«Хайке, стало быть», — догадываюсь я.

Она смотрит не на меня, а сквозь меня, смотрит во двор, именно туда, где темнеет будка. По ее настолько потрясенному взгляду я понимаю — что-то из случившегося во дворе она видела своими глазами.

«Видела и все же молчала, потому что ее показаний почему-то нет в старом деле», — вспоминаю я.

Отмечаю её лицо и откладываю на полку. Полка тяжелеет на глазах.

— Тот человек может вернуться к входу, Мюллер. Я выйду через кухню и подожду полицию во дворе, — спокойно говорю я ему, заглядывая в имеющееся здесь на входе зеркало в старинной раме.

«Да, лицо в густой грязи, нужно ее смыть», — быстро разглядываю себя.

Логика для свидетеля простая, раненый боится второго нападения, именно такие слова он запомнит. Мюллер кивает

и машет рукой в сторону прохода за стойкой, а в спину мне кричит:

— Господин, вам к врачу надо!

«Надо, Мюллер. Только мой лечащий врач ещё не родился», — невольно улыбаюсь я.

Кухня встречает паром, руганью и жареным луком, повара в косынке шарахается при виде меня к плите, прижимая полотенце. Я поднимаю ладонь:

— Спокойно, мамаша, уже ухожу, только умою лицо.

Сразу же ставлю портфель под раковину, открываю кран с холодной водой, тщательно умываюсь сам и мою руки от грязи, еще отряхиваю ее с колен. На ботинки уже нет времени, да они сейчас никому не нужны, на улице все равно грязно. Еще рукава пиджака от плеча до локтя хорошо испачканы, но под плащом мне до них не добраться, поэтому тоже пока не нужно.

— Вы за свое пиво заплатили? — вдруг вспоминает повара, приняв меня за убегающего от расчета клиента.

— За мое пиво заплатит герр Мюллер, — говорю я ей, проходя мимо на выход.

Юмор из меня всю жизнь лезет в самые неподходящие моменты. Профессиональное, наверно.

Полицию во дворе я, разумеется, ждать не собираюсь. Ни я, ни «Ткач» не должны быть допрошены или задержаны сейчас. Мне подобное будет очень-очень некстати, тогда я потеряю источник или время, которого у меня сейчас лишнего

просто нет.

Поэтому легко ухожу от пивной по уже немного знакомому пути, проложенному Биндером. Там так же приходится перелезать через штакетник, сталкиваться с мокрым бельем, слушать лай собаки, но теперь я просто спокойно иду, как уже приличный гражданин в плаще. Поэтому никто уже не кричит на меня сверху и не обещает вызвать полицию.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.